

# Поминальная мизансцена

Александр НИЛИН



07.2000

Ефремов О.Н.

Конечно, к душевным ранам ранней юности эстетичнее притрагиваться, когда взошедшая из них судьба сложилась поудачнее, чем ожидалось при бедах начала.

Мой, однако, случай, очевидно, менее типичен. Интрига никем, в сущности, незамеченного происшествия, странным образом продолжается во мне — то мешая, то помогая мне жить дальше.

Сорок лет назад я ушел — уж не знаю, как теперь считать: гордо или малодушно? — со второго курса Школы-Студии МХАТ, не дожидаясь решения об официальном исключении. Валерия З. отчислили одновременно со мной. Но его, как все считали, зря. Что очень скоро и подтвердилось. З. поступил в училище при Малом театре. Позднее он стал актером, но если бы я назвал здесь его фамилию полностью, то она вряд ли произвела бы на кого-нибудь большое впечатление, при том, что с кем бы из сослуживцев Валерия я ни заговаривал, все отзывались о нем неизменно уважительно. Но никто из них не удивлялся тому, что мой однокурсник не выбился в первачи. Я, правда, и сам этому не удивлялся, вспоминая один из уроков в Школе-Студии.

В самом начале учебы нам постоянно задавали упражнения с воображаемыми предметами. Однажды наш педагог Олег Николаевич Ефремов сказал: "Валера! У тебя в руках кусок угля!"

— Дровяного или каменного? — по обыкновению нахмурился З.

Ефремов приходил на занятия с нами после ночных репетиций. Он как бы стер с лица паутину усталости, взглянул на дотошного студента глазами, погрустневшими от предчувствия ожидавшей того судьбы, и скорее попросил, чем посоветовал: "З.! Когда я предлагаю вам сделать этюд, то хотел бы слышать от вас: с удовольствием! — и только!"

Этот эпизод не одному мне запомнился. Когда З. заканчивал Щепкинское училище, бывший педагог счел все-таки нужным прийти к нему на дипломный спектакль — у Валерия появлялся шанс попасть в "Современник". Но стал он актером неглавного московского театра на главной улице — и никаких попыток изменить свою судьбу, насколько я знаю, не совершал.

При наших с ним редких и всегда случайных встречах я с невольной завистью к его по-прежнему тяжело характеру (все же мы худо-бедно обучились искусству хоть сколько-нибудь располагать к себе людей) замечал, что совету Ефремова он не внял, и задания, не прочувствованные им, никогда не будет выполнять с удовольствием. И в театре, где, по мнению Вахтангова, главный талант — это умение увлечь себя очередной задачей, упрямо и категорично в своих неожиданных пристрастиях Валерию З. рассчитывать на благоприятствие судьбы вряд ли приходится. Правда, судить о возможности однокашника я со всей очевидностью не мог — до сезона прошлого года я не видел его на сцене.

Мне почему-то настолько неловко было перед всем миром за неудачу на актерском поприще, что как зритель я за сорок лет приходил в театр считанные разы.

Я, выходит, любил себя в искусстве, а не наоборот?

В той, однако, выпавшей мне после прекращения театральной учебы жизни, с которой никак толком не разберусь: прошла она или так и не началась? — я оказался достаточно искусственным в самооправданиях, чтобы и Станиславского с его системой упрекнуть в известной схематичности. Хотя жизнь в своем главном сюжете схематичней всякой из кажущихся спасительными схем.

Я, признаюсь, не готов пока к

тому, чтобы смириться с мыслью, что у меня уж совсем ни к чему нет способностей. Но с тем, что соображаю медленнее, чем хотелось бы, и вообще маловосприимчив к наукам и необходимым знаниям, вынужден, наконец, согласиться. И теперь почти не сержусь на всех встреченных в жизни преподавателей, неизменно меня тренировавших. "Вы извините, но мы между собой называем его дубиной", — сказала моему отцу руководительница класса, где я учился в школе. И вот получается, что одним-единственным учителем, отнесшимся ко мне едва ли не с откровенной симпатией, оказался Олег Ефремов: в какой-то момент я показался ему комиком, чему поспешил воспротивиться, представляя себя совершенно по-другому, чем он. И я потом очень долго не мог поверить, что он потерял ко мне педагогический интерес — мы гораздо чаще сами разочаровываемся, чем верим в чье-либо разочарование в нас самих.

Всю дальнейшую жизнь я надеялся чем-нибудь поразить Олега Николаевича — и доказать ему, что зря он во мне тогда разочаровался.

За прошедшие годы я встречался с Ефремовым не чаще, чем с Валерием З. И всегда встречи с ним заставляли меня врасплох — и я чувствовал смущение и растерянность, говорил какие-то глупости, а если бывал выпивши, то впадал в многословное косноязычие, что-то пытался втолковать ему, объяснить, что-то непрошеное обещал, намекал на какие-то скрытые во мне возможности (может быть, то самое искусство в себе, которое рекомендовал любить Станиславский, в коем я разуверился раньше, чем попытался понять?).

Если при встречах с З., жившим на актерское жалование, мне неловко делалось за свое относительно к его положению процветание в цехе, где платят все-таки побольше, то, сталкиваясь с Ефремовым, я сгорал от стыда, ощущая себя на том же самом месте, где он меня оставил — и вместо З. с глупой въедливостью допытываюсь неизвестно у кого: дровяной или каменный уголь у меня на ладнях, не желая быть заподозренным, что пришел с пустыми руками...

И все-таки есть у меня ощущение, что уроки, преподанные давным-давно в театральной школе, в отличие от прочих, мною отчасти усвоены — и сказываются в каждодневности нынешней моей жизни. В индее роли я вхожу с головой — и дальше не вполне отличаю: по какую сторону "рампы" чувствую себя всего естественнее?

На большом приеме в дачно-правительственном Ильинском, устроенном богатой фирмой, в чьем главлцевом журнале служил я в середине девяностых годов шеф-редактором, мне, похоже, удалось войти в образ преуспевающего господина новейших времен — и я без малейшего смущения вращался среди знаменитостей, деловых людей и начальства. И когда среди ночи появился не до конца понимающий, по-моему, куда он попал, Ефремов, я двинулся ему навстречу, рассчитывая удивить его неожиданностью предложенного мне поворотом в судьбе амплуа. Он не только сразу узнал меня, но и обрадовался сильнее, чем мог я предполагать. С хмельной проникновенностью воскликнул: "Малышка мой!". И представил даме, вероятно, приданной ему театром в сопровождении: "Шура — мой ученик!". "Он артист?" — осторожно выразила трезвое со-

мнение дама. "Он... артист" — без видимого колебания, но упавшим несколько голосом попытался убедить ее Ефремов. Однако тут же, что-то мучительно припоминая, с обычной своей гипнотизирующей интонацией добавил: "Но еще он очень и очень серьезный... филолог!". Я спокойно подумал: "Состоялось — сотая часть того, о чем сначала явно, а уж дальше тайно мечтал. Ефремов что-то слышал обо мне, а то и прочел что-нибудь из мною написанного. Филолог так филолог — к чему уточнять? Для большинства людей филология — тот же "воображаемый предмет". Но этим сюжет не исчерпывался. Дошедшая до меня с большим опозданием похвала Валерия З. какой-то моей заметке в газете вселила надежду, что не все еще потеряно. Что жизнь мою можно объяснить, рассказав, что по-разному, но в равной степени я завидую и З., и Ефремову."

Не скрою: я жалею, что увидел З. на сцене — лучше бы и дальше сохранять иллюзии. С другой стороны: разве не имел он права устать от несбывшихся надежд, если век завершается страшной усталостью и тех, у кого все вроде бы сбылось?

Текст этот лежал в одной из редакционных папок возрожденного Семеновским журнала "Театр", когда прощались мы с Ефремовым. Большой похоронный день начинался ранним утром: тон задан был приездом во МХАТспешившего на ярославский авиарейс президентом. Разорвавший знойный воздух путинский кортеж мощно просвистел-просквозил мимо нас на Минском шоссе перед Кунцевым, окатив сухой волной причастности к высокой политике, из которой, впрочем, легко удалось вынырнуть обратно в наши воспоминания об ушедшем. За неделю вынужденно отложенного — театр гастролировал на Тайване — погребения внутри столько уже перебродило, оставив новое кольцо скорбного знания. И в ощущении того, что теперь ритуально предстояло, главенствовало тайно театральное.

Я ехал к мертвому Ефремову с нескрываемым от себя желанием произвести впечатление на тех, кто окружал его все годы, стоял к нему близко, несравнимо ближе, чем я. Мне казалось, что я готов, наконец, распорядиться преподанными им некогда уроками, преобразовавшими меня с некоторым, скажем так, опозданием, на которое, кстати, ни в коем случае не сетую (поскольку и в своевременности есть своя относительность), двинувшись в направлении вряд ли мне предназначенном. Хотя как знать, если подобное преобразование, все-таки, очень уж внимательному взгляду заметно?

Перед фасадом знаменитого здания на Камергерском, на декоративной, как мне показалось, скамеечке сидел мой однокашник, красавец Гарик Васильев — известный мхатовский и кинематографический артист. Он-то и повел нас через служебные двери в траурный мрак, оказавшийся после рассеянной адаптации в нем ближайшим закулисьем. Я и не сразу сообразил, когда с прикрепленной к рукаву траурной повязкой шагнул вслед за кем-то направляющим, что вышел на подмошку — на сцену Художественного театра. Молчаливое многолюдство и скорбная перенасыщенность опозданного закулисья как-то уж слишком естественно вобрала меня, обжившего пока ехал сюда

редконадеванный темным костюмом — и я надеюсь, что Ефремову бы понравилось, как я при галстукке и в сосредоточенности неожиданно покоя почувствовал себя, поверив в самих придуманные, а не кем-то предложенные обстоятельства, на равной ноге с наиболее известными и заметными среди здесь присутствующих фигур, как интонационно точен и в грустных кивках-приветствиях, и в меру преувеличенно дружествен или фамильярно многозначителен в разговорах, начинаемых как бы из середины, что и предполагает принадлежность к этой избранной среде. В театре, между прочим, как нигде, умеют извлечь здравый смысл из заведомой пошлости — и я все более проникался самонадеянно извлекаемым смыслом.

Дошло дело до того, что в отдельных беседах я и не только старался поддакивать, но брал на себя часть инициативы. Я, например, дольше, чем следовало, задержался возле ефремовского преемника — на панихиде, в том мало кто сомневался, — продолжал говорить, когда неписанный этикет требовал от меня уже шагов назад или в сторону, а не контрамарочного топтания на месте, мешающего вместить в виповское пространство фигуру, более соответствующую рангу Табакова.

Табаков талантливо, умно, но без обычного лукавого вдохновения (устал? жара? не уверен был в перспективе роли?) вел свою партию, развлекая себя же великим умением то обаять собеседника, обманчиво приблизив, то дистанцироваться от него, погасив несколько лампочек в невидимой рампе...

И надо же было случиться, чтобы Валерий З. проходил мимо, когда я стоял среди обступивших Табакова важных лиц.

В светлой летней рубашечке, совсем седоголовый, он с цветочком в руке на ходу кивнул мне, а не кому-либо из господ, с которыми объединил меня привычно самолюбиво отчужденным взглядом. Мне, вероятно, следовало бы ограничиться ответным дружеским поклоном, но бывший соученик в сложившейся ситуации предстал выгодным партнером — и я, купающийся в роли преуспевающего и влиятельного человека, широко шагнул навстречу Валерию с тем именно видом, с каким заходящийся от собственного демократизма персоны здороваются на людях с недостигшими их высот старыми знакомыми.

Был со мной похожий случай. И — тоже на похоронах. В Ленкоме шла панихида по Евгению Леонову. Мой тогдашний редактор, — рвущийся к общественному признанию молодой человек (ныне до него, замечу, дорвавшийся) захотел, чтобы мы тоже на ней непременно присутствовали. Но нас с огромным букетом роз по каким-то соображениям не захотели пустить через служебный вход. Редактор разнервничался, и готов был меня уволить немедленно. Он считал, что у меня есть знакомые в мире театра, а у меня их не оказалось.

Правда, меня узнал в толпе ни больше ни меньше, как первый заместитель министра культуры, — мой университетский товарищ — и пожал мне руку с тем самым подкупающим демократизмом, который я так удачно заимствовал, дорываясь с Валерием З. Разница лишь в том, что Валерию, по обыкновению, ничего ни от кого не требовалось, а я-то надеялся тогда на протекцию знакомого заместителя министра.

Но я к тому клону, что в поминальную — так получилось — мизансцену нас с гордым З. развел, как называли мы в шутку тридцатилетнего Ефремова, "учитель", всех нас по-разному, действительно, чему-то научивший.